

За мир без морали

Жиль Дове

1983

Оглавление

Вместо предисловия	3
За мир без морали	5
Любовь — Экстаз — Преступление	7
Любовь	7
Экстаз	12
Преступление	15

Вместо предисловия

Перевод текста достаточно для того чтобы измерить, слово за словом, его широту и его ограничения — в случае с этой статьёй, её франкоцентризм. Исчезновение «мест общественной жизни» например, различно во Франции и в англосаксонских странах. Деградация дублинского или лондонского паба не может быть сравнима с потерями, которые претерпело парижское бистро за последние сорок лет. Что касается США, закусочные, кондитерские и столовые на представляют там собой полюсов социальной жизни напоминающих французское кафе. Даже на континенте, в то время как Париж продаёт свою душу Биг Маку, Рим держится своей линии. Тенденция к меркантилизации повседневной жизни универсальна; но не однообразна.

Эволюция нравов не быстрее, но воспринимается с большей готовностью в стране, где масло льётся на старый католический уксус. Когда нынешний обитатель Белого Дома подвергается опасности потерять свою работу из-за минета, это не потому что этические ценности весят больше в Вашингтоне, чем в Париже, но потому что французы обычно не дают простонародью слова в вопросах морали, а публичная исповедь не является распространённой практикой. Но хихикая над заокеанским лицемерием и архаизмом, парижанин забывает, что скандал вокруг Клинтона иллюстрирует распространяющуюся тривиальность телевизионной демократии, демократический моральный порядок, который европейцы, левые они, или за свободный рынок, намерены имитировать.

Текст *«За мир без морали»* был написан в 1983-м, во время отлива подрывной волны шестидесятых и восьмидесятых. С тех пор, всё только ухудшилось. «Попробуйте быть педофилом открыто», писали мы. Печальное пророчество. Любая форма любви между взрослым и ребёнком мгновенно отождествляется с преступлением против ребёнка, неважно в самых ли «оскорбительных» формах, или в самых зверских — изнасилование и убийство. Родительская любовь является единственным исключением из этого правила, но, увы, не будем забывать, что статистика жестоко демонстрирует нам, что ребёнок находится под наибольшим риском сексуальных домогательств как раз в этом бастионе безопасности, известном как «семья». По той же логике, любой гетеросексуальный мужчина должен дрожать от страха при одной мысли о Джеке Потрошителе, потому что это финальный результат любых отношений между мужчиной и женщиной. (Тёмная туча этой логики, в самом деле, кажется нависает над всеми отношениями между полами в Соединённых Штатах до такой степени, что лишает сексуальности отношения между мужчиной и женщиной).

За последние пятнадцать лет, капиталистическое общество стало более очевидно самим собой, отвечая на социальную борьбу и человеческие требования полчищем монстров прямо с конвейера. Потребительское общество избавляется от машин только вводя пешеходные линии, умирающие по вечерам во время закрытия. Современное урбанистическое развитие удобно только для автомобилиста, мотоциклиста, бегуна, человека на роликах, и т.д., отводя каждому свою дорожку. Нравы, к сожалению, относятся к той же модели — каждому своя дорожка. Бунт против слишком реального доминирования белых мужчин породил повсеместно высмеиваемую, но повсюду практикуемую Политическую Корректность. Она неспособна изменить реальность, но вводит эвфемизмы и отдельные реальности, изменяя лишь язык.

Пятнадцать лет калечащей разделённости, неизменно подаваемой в пастельных тонах освобождения. Что такое гей? Человек, который ходит только с мужчинами, убеждённый, что никогда не почувствует влечения к противоположному полу? Откуда он знает? Как он может исключать возможность того, что его охватит желание к женщине?

Гей-проза? Почему бы тогда не распределить книжные полки рядом с отделом одежды (как это уже практикуют в книжных магазинах США)? Вирджинию Вульф в женский отдел, Шекспира в мужской (хотя там были сонеты...) Лорда Байрона в «Худеющих, на диете», а любой писатель старше шестидесяти пяти будет видеть свои новые работы в отделе для пожилых.

Благодаря своему гей-ству, мужчина гей чувствует себя в безопасности от слишком реальной дискриминации. Другие клубы, другие районы, другая литература и, что немаловажно, другой словарь. Как грустно, что для того, чтобы избежать многовековых репрессий, миллионы не придумали ничего лучше, чем создать категорию, которая ещё уже, чем семья, основанную на выборе сексуального объекта: пенис против вагины. Акт превращается в идентичность, определение в судьбу, а сексуальное предпочтение в мировоззрение (гей-культура). В то время как язык выражает социальные отношения, это они должны быть изменены. На закате 20-го века легче изменять слова, чем вещи.

«Будь хорошей девочкой, сделай кофе». Где здесь сексизм — в слове «девочка»? Значит ли это, что мужчина, который говорит «*Девочка, я люблю тебя. Как насчёт кофе?*» любит и/или уважает свою партнёршу меньше, чем если бы он сказал женщина? В реальности, когда дело касается интимных отношений, намерения редко являются двусмысленными. Именно в сфере формальности — вежливых терминов, официальных обращений, рабочего жаргона — находится целая вселенная, которая должна быть революционизирована, если не упразднена и здесь лингвистический феминизм только эвфемизирует, десексуализирует, нейтрализует. Чего мы достигаем если заменяем девочку персоной? Того же что и заменяя Министерство Внутренних Дел, когда от слова просто отказываются и используют вместо него МВД. Правит сокращение, безболезненное и непонятное. Обобщающий язык уже в прошлом.

Кстати, что выражает слово коммунист? Нужно ли менять слово оттого что десятилетиями оно служило искажению реальности, основанному на поражении рабочего движения? Или было бы лучше дать и понятию и слову новую жизнь? Мы, мужчины и женщины, не являющиеся женоненавистниками, не чувствуем необходимости доказывать наше феминофилию. Пусть те, кто председательствует получает удовольствие, когда их называют не председателями, а председательницами или председательствующими.

Посадят ли Антонина Арто в психушку, или, что хуже, дадут ему сертификат, речь идёт о психиатрическом решении социальной и человеческой проблемы — должен ли психдом быть закрытым зданием или химическими препаратами.

Враг — это то, что делает нас пассивными, разделяет. Благодаря хорошим заграждениям есть хорошие соседи. Автономия — это закрытое, частное пространство в котором я думаю, что могу делать то, чего не могу снаружи. Как государство, феминизм проводит границу. «Руки прочь!» Намеренно или нет, это делает вклад в индивидуальный раздел, требующий высшей власти, гарантирующей права каждого

(ребёнка, родителя, мужчины, женщины, старика, молодого, гея, потребителя, рабочего, больного, пешехода, члена меньшинства, и т.д.) по отношению к другим. Право каждого может быть объявлено абсолютным, всегда лишь по отношению к другим. «Абсолюты не накапливаются», как сказал Жан Жене. А что определяет и судит об этой относительности если не государство? Приватизация жизни идёт рука об руку с увеличением количества судей и психологов.

Человечество не освободится, нарезая себя, как освобождённые территории с пограничными столбами. Революция означает выход за все границы. Она означает преодоление как женственности, так и мужественности. Индивиды получающие частный контроль, хотя бы и за такой важной вещью как собственное тело, не являются решением сами по себе. Единственным истинным решением является создание с другими людьми (обоих полов) отношений иной природы, в которых никто больше не боится доминирования и не рискует подвергнуться ему. Смысл не в том, чтобы женщины стали свободными от мужчин, а в том, чтобы они были свободными вместе с ними. Цель не в том, чтобы каждый заявлял о собственной независимости, но в том, чтобы каждый мог перестать отказываться от зависимости, взаимозависимости, в страхе. Свобода — это взаимоотношения.

Один из недостатков текста «За мир без морали» возможно заключается в том, что он делает недостаточное ударение на том, как сильно обычаи будущего мира должны удивлять и шокировать нынешний. Многие дилеммы, страхи и ужасы, вечные или недавние, исчезнут. Другие возродятся. Речь уже не о том, как достичь рая, но о том, как утихомирить варварство.

Критика морали не говорит «пусть каждый делает, что хочет, и благодаря добру в человеке всё сложится хорошо». Проблема не в том, как избежать конфликта и норм, но в том как изменить нынешнее неверное отношение к этим нормам. Нет иной логики, иного значения, а значит иной гарантии моих действий, чем мои отношения с другим человеком. Цель — и вся проблема — однажды будет в том, как жить согласно норме не отличающейся от моих и от наших действий.

Жиль Дове, ноябрь, 1998

За мир без морали

Настоящая статья является введением в критику общественных нравов, вкладом в обязательную задачу революционной антропологии. Коммунистическое движение обладает как классовым, так и человеческим измерениями. Оно содержится в центральной роли пролетарских рабочих не будучи при этом рабочей этикой, и направлено на достижение человеческой общности, не будучи при этом гуманизмом. На данный момент, реформизм живёт отчуждением, накапливая требования в обеих параллельных сферах, не ставя при этом под вопрос сами сферы. Одним из доказательств мощи любого коммунистического движения является осознание им, а затем и преодоление на практике, этого разрыва или противоречия между классовым и человеческим измерениями.

Этот разрыв и это противоречие процветают в двусмысленности нашей эмоциональной жизни и придают критике общественных нравов особо деликатный характер.

Данный текст не является работой по «сексуальности» — культурно-исторического продукту той же природы, что и экономика и труд. Сексуальность как особая сфера человеческой деятельности зародилась, когда её превратили в теорию (обнаружили) и усовершенствовали при капитализме девятнадцатого века, опошили в двадцатом, и она будет преодолена в цельности коммунистической жизни.

По тем же причинам, он не является «критикой повседневной жизни». Такая критика относилась бы к социальному пространству, исключенному работой и конкурирующему с ним. «Нравы», напротив, объемлют собой весь комплекс человеческих взаимоотношений в их эмоциональных аспектах. Они не отчуждены от материального производства. (Буржуазные семейные ценности, например, неотделимы от трудовой этики). Поскольку капитализм вбирает в себя на свой собственный манер человеческое прошлое, породившее его, не может быть революционной критики без критики нравов и образа жизни, предшествовавших капитализму и способов, которыми он интегрировал их в себя.

Любовь — Экстаз — Преступление

Любовь

Если доверять Марксовым Рукописям 1844 г., «самыми естественными отношениями между людьми являются отношения между мужчиной и женщиной». Эту формулу можно понимать и использовать, только если не забывать при этом, что история человека есть история его освобождения от природы путём создания экономической сферы. Идея противопоставления человека природе, его полной отстранённости от природы, несомненно является отклонением. Природа человека заключается заодно и в его биологической данности — мы приматы — и в его деятельности по усовершенствованию этой природной данности в самом себе и в окружающем мире.

Человек не отстранён от природных условий, будучи одним из них. Но он хочет познать их и начал играть с ними. Можно спорить о механизмах, приведших его к этому (в какой мере это зависело от трудностей выживания, особенно в регионах с умеренным климатом и т.д.), но можно быть уверенными в том, что изменяя свою окружающую среду, чтобы в свою очередь она изменила его, человек оказался в положении радикально отличающемся от всех других известных форм жизни. Освободившись от всех метафизических предпосылок, эта способность играть в какой-то мере с законами материи совершенно очевидно является человеческой свободой. Человек стремится завоевать вновь эту свободу, которой люди были лишены по мере того как начали производить её и питать ей экономику, не обманываясь более по поводу того, чем она является: это не свобода раскрепостившихся желаний, больше не встречающих помех и не свобода следовать велениям (кто сможет их расшифровать?) Матери Природы. Человек стремится также дать как можно больше пространства своей свободе для игр с законами материи, говорим ли мы об изменении курса реки или о сексуальном использовании отверстий, не «предназначенных» природой для подобного использования. В конце концов он видит, что только риск может гарантировать ему свободу.

Именно потому, что свободе нужно предоставить всё пространство для её поля деятельности, критика нравов не может использовать в качестве признака их обеднения ту или иную отдельную практику. Уже говорилось о том, что в современном мире свободные нравы ограничиваются мастурбирующими действиями (в одиночестве, вдвоём или с несколькими партнёрами). Останавливаться лишь на этой фактической данности значит недопонимать сущность сексуального обнищания. Так ли уж необходимо долго доказывать этот очевидный факт: есть закоренелые развратники бесконечно более отверженные, чем неудовлетворённые отшельники. Чтение хорошего приключенческого романа может быть гораздо более захватывающим, чем организованные путешествия. Реальное обнищание состоит в том, что приходится жить в мире, в котором не осталось больше приключений, кроме как в

книгах. Грёзы, в конце концов теряющие тот эффект, что они в нас производят не отвратительны. Если что и отвратительно, так это условия, которые должны быть соблюдены, для того, чтобы просто встретиться. Когда мы читаем небольшое объявление, в котором бородач приглашает пожилую даму этажом выше зайти к нему со своей собакой, чтобы повеселиться вместе с ним, то отвратительны не борода, не старость и не зоофилия. Что мерзко, так это то, что желание бородача становится предметом продажи для особенно тошнотворной идеологической торговли, когда бородач публикует своё объявление в Liberation.

Кто-то в одиночестве, набрасывая теоретический текст, в той мере в какой текст помогает понять общественную реальность, менее изолирован от человечества, чем тот, кто едет в метро или работает. Сущность сексуального обнищания заключена не в том или ином виде деятельности — хотя преобладание одного из них над другим может быть симптоматичным — а в том факте, что вдесятером, вдвоём или наедине с собой, личность неизлечимо отчуждена от человечества отношениями конкуренции, усталости и тоски. Усталость от работы, тоска от ролей. Тоска от сексуальности, ставшей отчуждённой деятельностью.

Сексуальное обнищание — это в первую очередь социальные ограничения (ограничения наёмного труда с его кортежем психологических и физиологических травм, ограничения общественных кодексов) проявляющиеся в сфере, представленной доминирующей культурой и его контркультурной версией, как одной из последних областей мира, в которой якобы ещё возможны приключения. Сексуальное обнищание — это также глубокое смятение человека (в той мере в какой капитализм и иудео-христианство влияют на него) перед лицом того, во что превратила сексуальность западная культура.

Христианство переняло у стоицизма (доминирующего образа мысли времён Римской империи) следующую двойную идею: 1) сексуальность является основой всего удовольствия, 2) её можно и должно контролировать. Восток, своим открытым утверждением сексуальности (и не только в искусстве спальни) склоняется к пансексуальности, в которой конечно нужно контролировать сексуальность, но точно так же, как всё остальное — она не занимает привилегированного положения. Запад подавляет сексуальность не тем, что забывает о ней, а тем, что думает только о ней. Он делает сексуальным всё. Хуже всего не то, что иудео-христианство подавляет секс, но то, что оно одержимо им и способами его организации. Запад превратил сексуальность не только в подотчётную истину нормального сознания, но также в безумие (истерию). В начальный момент кризиса морали, Фрейд открыл в сексуальности великий секрет всего мира и всей цивилизации.

Сексуальная нищета это качели между двумя моральными укладами, традиционным и современным, в большей или меньшей мере сожителями в мозгах и железах наших современников: с одной стороны, человек страдает от ограничений, налагаемых на него моралью и трудом, не позволяющих ему достичь исторического идеала сексуальной и любовной самореализации, с другой, чем больше он освобождается от этих ограничений (во всяком случае, в своём воображении) тем более этот идеал кажется пустым и неудовлетворительным.

Не стоит принимать одну из тенденций и её зрелищное представление за целое: пусть наша эпоха и несёт в себе определённую либерализацию нравов, традици-

онный моральный порядок не исчез. Просто попробуйте быть «педофилом» у всех на виду. Традиционный порядок функционирует и будет ещё долго функционировать среди большей части населения индустриализированных стран. В большинстве частей света он агрессивно господствует до сих пор: как в исламских и восточных странах. В самой Франции его представители, не важно представители Рима или Москвы, далеки от пассивности. Бремя страданий, причиняемых их злодеяниями, всё ещё настолько довлеет над нами, что никто не может помешать нам опровергать их во имя того факта, что именно капитал подрывает традиционный моральный порядок. Не все бунты обязательно заканчиваются неореформизмом, бунт может быть также криком угнетённого существа, содержащего в себе семя бесконечного разнообразия сексуальных и чувственных возможностей, тысячами подавляемых тираническими обществами.

Наверное, понятно, что мы не против «извращений». Мы даже не против пожизненной гетеросексуальной моногамии. Тем не менее, когда литераторы и художники (например, сюрреалисты) пытаются утверждать, что суммой всех наших желаний является *l'amour fou* (безрассудная любовь, Э.Т.), нам в свою очередь приходится констатировать, что они покупаются на большой упрощённый западный миф. Этот миф должен был стать дополнительной дозой души в жизни пар, как изолированных атомов, служащих наилучшим основанием капиталистической экономики. Одним из богатств, которое приобретёт освобождённое от капитала человечество станет процветание безграничных форм сексуальности и чувственности, извращённых и полиморфных. Только когда смогут расцвести подобные обычаи, «любовь» воспетая Андре Бретоном и Арлекином, предстанет перед нами в своём истинном свете — как культурная конструкция переходного периода.

Традиционный моральный порядок деспотичен и как таковой заслуживает критики и борьбы с ним. Но если он вступит в кризис, то не потому что у наших современников больше жажды свободы, чем у наших предков, а потому что буржуазная мораль выказывает свою неприспособленность к современным условиям производства и распределения товаров.

Буржуазная мораль, сформировавшаяся во всём своём амплуа на протяжении девятнадцатого века и распространённая по каналам религии и светской школы, является лишь выражением потребности идеологизировать господство промышленного капитала в эпоху, когда капитал ещё не полностью захватил власть. Сексуальная, семейная и трудовая мораль идут рука об руку. Капитал опирается на буржуазные и мелкобуржуазные ценности: собственность как плод труда и сбережений, тяжёлый, но необходимый труд, семейная жизнь. В первой половине двадцатого века капитализм занял собой всё общественное пространство. Он стал незаменимым, неизбежным: наёмный труд является единственной возможной деятельностью, потому что других не осталось. Только так, даже будучи навязанным всем, наёмный труд может показаться не принудительным, а гарантией свободы. Когда всё превращается в товар, все элементы морали рушатся. Мы обладаем собственностью до того как отложили сбережения, благодаря кредиту. Мы работаем, потому что это практично, а не из чувства долга. Большая семья уступает место нуклеарной семье, которая сама испытывает на себе ограничения со стороны денег и работы. Школа, СМИ и родители оспаривают друг у друга власть, влияние, воспитание. Всё, что предска-

вал Коммунистический Манифест было реализовано при капитализме. С концом мест народной жизни (кафе...) их заменили не обладающие той же эмоциональной притягательностью места потребления товаров (дискотеки, торговые центры), в которых от семей запрашивается больше всего в тот момент, когда им абсолютно нечего предложить.

Под кризисом буржуазной морали скрывается более глубокий кризис капиталистической нравственности (в смысле социальности). Трудно определить, что такое «нравы», найти законы взаимоотношений между ними, способы поведения, которые выходили бы за рамки обанкротившейся буржуазной морали. Какую нравственность несёт людям современный капитализм? Подчинение им всех и вся, его вездесущность, в теории делают все предшествующие отношения поверхностными. К счастью, на практике этого не происходит. Чисто капиталистического общества интегрального и единого нет и никогда не будет. С одной стороны, капитал не создаёт ничего из ничего, он изменяет живые существа, рождённые вне его (крестьяне, переселяющиеся в города, мелкобуржуазные деклассированные элементы, иммигранты) и взаимоотношения между ними, но что-то из прежней социальности всегда остаётся, хотя бы в виде ностальгии. С другой стороны, само функционирование капитала негармонично: он не сдерживает обещаний построить мир грёз с рекламы и вызывает реакцию, возврат к традиционным ценностям, представляющим в глобальном масштабе как семейные. Отсюда этот феномен: люди продолжают жениться, но каждый третий или четвёртый брак заканчивается разводом. Наконец, будучи обязанным управлять, ограничивать и запугивать своих наёмных трудящихся, капитал должен непрестанно вновь вводить ценности поддерживающие власть и подчинение, которые на современном этапе устарели: отсюда постоянное использование старой идеологии в комбинации с новой (участие...).

Мы живём в эпоху сосуществования различных моралей. В эпоху быстрого размножения моральных кодексов, а не их исчезновения. Чувство вины (навязчивый страх нарушить табу) совмещается с тревогой (чувством отсутствия ориентиров перед «выбором», который приходится делать). Прежние невроз и истерия уступили место нарциссизму и шизофрении, в качестве исторических заболеваний.

Что правит поведением наших современников, это всё менее и менее свод заповедей передаваемый, не подлежа обсуждению, отцами семейств или священниками, а скорее некий род потребительской морали индивидуального удовлетворения, которой служит превращение тела в фетиш и неудержимая психологизация человеческих отношений, в которой мания всё интерпретировать заменила собой ритуал исповеди и экзамена сознания (в католической вере — пристрастный самодопрос перед исповедью, Э.Т.).

Маркиз де Сад опередил своё время. Он просто предсказал наше: время исчезновения любой моральной гарантии до того, как человек стал самим собой. Та же невыносимая скука, что рано или поздно завладевает читателем монотонного каталога маркиза, приходит при чтении частных объявлений с их бесконечными повторениями образов удовольствия без общения. Садистское желание стремится полностью превратить другого человека в предмет, в мягкий материал для своих фантазий. Умертвляющее отношение: уничтожение другого, отказ зависеть от желаний другого, является повторением одного и того же — но если герой де Сада посвящал

усилия борьбе против общественных ограничений, современный человек и его логика индивидуального удовлетворения сам становится мягким материалом для своих фантазий. Вместо того, чтобы следовать за своими желаниями, он «реализует свои фантазии». Или вернее, он стремится к их реализации, когда он идёт на пробежку вместо того, чтобы бегать ради удовольствия или потому что куда-то спешит. Современный человек не теряет себя в другом, он заставляет функционировать и развиваться свои способности к удовольствиям, свою готовность к оргазму. Укротитель собственного тела, он говорит ему: «кончай!», «сильнее!», «беги!», «танцуй!» и т.д.

Для современного человека, обязанность работать сменилась обязанностью удачно проводить досуг, а сексуальные ограничения затруднениями в утверждении собственной сексуальной идентичности. Нарциссичная культура идёт в паре со сменой функции религии: вместо того, чтобы напоминать о высшем, она смягчает болезненное прохождение через критические моменты жизни (юность, брак, смерть). Религии недостаточно, чтобы помочь людям быть более современными: им приходится обращаться к семье! «Нет больше сверх-присутствия семьи, как в прошлом веке, есть её сверх-отсутствие. Она определяется не трудовой этикой или сексуальными ограничениями, а этикой выживания и сексуальной неразборчивостью». Это говорит психолог, С. Лаш (Le Monde, 12 апреля, 1981 г.).

Посреди кризиса нравственности завладевшего западным обществом, человек меньше всего подготовлен к решению «проблемы секса». Именно в тот момент, когда она предстаёт во всей своей наготе у нас появляется наилучший шанс хорошо осознать, что эта «проблема» таковой не является.

Современный человек в недоумении, он всё более теряется перед превращением в товар всей жизни, в которой подавляемый в течение двух тысяч лет секс воскресает, но лишь с тем, чтобы превратиться в товар. Он открывает для себя, что разнузданный поиск чувственных удовольствий (как в фильме «Большая жратва», 1973г.) в мире товаров ещё больше отчуждает отдельную личность от человечества, от её партнёров, от самой себя. В конце концов он возвращается к христианству, чтобы избежать отчуждающей и умертвляющей сексуальности.

Работа Жоржа Батая (1897—1962), например, раскрывает эту эволюцию западного общества с начала века. Разбирая историю цивилизации, Батай начинает с сексуальности, чтобы перейти к религии. Начиная со своего литературного произведения «История глаза» (1928) и до конца своей жизни, он проводит всю свою жизнь в поисках подотчётного значения Глаза. Его траектория пересекается с путями революционного движения, но легко и живо отдаляется от него, поскольку это движение практически исчезает. У него, тем не менее, было время в поздний довоенный период, когда он занял по отношению к антифашизму и угрозе войны позицию, которая резко отличалась своей ясностью от пустословия подавляющего большинства ультралевых. Поэтому его труд так двусмыслен. Можно использовать его в качестве иллюстрации религиозных тупиков, к которым приводит крайний опыт разнузданной сексуальности:

«Публичный дом — моя истинная церковь, только он достаточно беспокоен для этого».

—Жорж Батай. Виновен

Однако, если в предыдущем отрывке, как в большинстве своих работ, он выступает против принятых ценностей, совершенствуя новую версию сатанизма, ему также доводилось писать фразы, интуитивно прекрасно отражающие существенные аспекты коммунизма: *«принять извращение и преступление не в качестве эксклюзивных ценностей, а в качестве интегральных составных человека как целого»*. (Жорж Батай. Программа Ацефала)

Экстаз

Наша эмоциональная и сексуальная жизнь через культурные конструкции, которые она породила (греческая любовь, куртуазная любовь, системы родства, буржуазный контракт и т.д.) не перестаёт быть объектом игры, источником страстей, зоной контакта с другой культурной сферой — священным. В трансе, в экстазе, в чувстве слияния с природой, в виде пароксизма выражается чаяние выйти за пределы своей личности. Это чаяние слиться со своим видом, обращённое в сторону космоса или божества, сегодня уже износило своё престижное священное тряпье. Религии, и особенно монотеистические религии, задались целью сузить священное и придать ему роль дирижёра, на удалённом расстоянии, человеческой жизни — в противоположность примитивным обществам, в которых священное неотделимо от повседневной жизни, огосударствленные общества всё больше и больше специализировали его. Капиталистическая цивилизация не ликвидировала священное, она его подавила, но его многочисленные остаточные явления и заменители продолжают заполнять собой общественную жизнь. Лицом к лицу с миром, где сосуществуют пережитки религии и торговое опошление, коммунистическая критика продолжается в двух направлениях: она должна десакрализировать его, что означает изгнать все старые табу из всех тайников, где они укрываются и вооружиться для преодоления священного там, где капитализм лишь деградировал его.

Следовательно, десакрализация тех зон, где прячутся старые чудовища, как, например, в паху. Против культа пениса, против завоевательного империализма пениса, феминистки не нашли ничего лучше, чем фетишизация женских половых органов с большой дозой пафоса и литературы, чтобы сделать это место воплощением их отличия, тёмными вратами самого их существа! Так, изнасилование становится преступлением преступлений, онтологическим покушением. Как если бы насильственное проникновение пениса в женщину было более отвратительным, чем её обращение в наёмное рабство под экономическим давлением! Однако, верно, что в первом случае виновного легко найти: это человек, в то время как во втором случае это общественные отношения. Намного легче изгонять дьявола своих страхов, превращая изнасилование в богохульство, вторжение в святая святых. Как если бы рекламные манипуляции, бесконечная физическая агрессия труда или равные им

органы социального контроля представляли собой меньшее интимное насилие, чем силой навязанный половой акт!

В последнюю очередь, то, что заставляет сомалийца вырезать клитор у своей женщины и то, что движет феминистками происходит из одной и той же концепции человеческой личности, как объекта частной собственности. Сомалиец, убеждённый в том, что его жена является частью его скота, чувствует себя обязанным защитить её от женского желания, как опасного для скотоводческой экономики паразита. Однако, делая это, он уменьшает и обедняет своё собственное удовольствие, своё собственное желание. В клиторе женщины символически сконцентрировано человеческое желание, в котором объединяются оба пола. Эта изувеченная женщина — ампутированный у человечества орган. Феминистка, заявляющая, что её тело принадлежит ей, хотела бы сохранить своё желание для самой себя, но когда у неё появляется желание, она присоединяется к той общине, в которой собственность не существует. «Моё тело принадлежит мне». Это требование претендовало на то, чтобы придать конкретное содержание Правам Человека 1789 г. Разве не повторялось много раз, что эти права обращены лишь к абстрактному человеку и никому не приносят конкретной выгоды кроме отдельного буржуа! Сегодня это буржуа, мужчина, белый, совершеннолетний. Неореформизм стремится залатать эту прореху активно пытаюсь придать реальное содержание этому «человеку», до сих пор абстрактному. «Реальные» права «реального» человека, в общем. Но «реальный человек» это не кто иной, как женщина, еврей, корсиканец, гомосексуалист, вьетнамец и т.д. Фраза «моё тело принадлежит мне» исполняет право буржуазной революции, стремящейся к завершению, к вечному совершенствованию, призывая демократию перестать быть «формальной». Они критикуют последствия во имя их причины!

Потребность владеть своим собственным телом обновляет буржуазное требование права на собственность. Для того, чтобы избежать светского угнетения женщин, с которыми их мужья когда-то (а в иных формах и сейчас) обращались как с предметом своей собственности, феминизм не придумал ничего лучшего, чем расширение права на собственность. Женщина должна в свою очередь стать собственницей, тогда она будет защищена: каждому своё! Жалкое требование, в нём отражается одержимость «безопасностью», которой СМИ и все эти партии так сильно стараются оделить наших современников. Требование, рождённое перед лицом горизонтов заключенных во внутреннем мире, в котором завладеть какой-либо вещью (в данном случае, собственным телом) можно только приобретая её в частную собственность. Наши тела принадлежат тем, кто нас любит и не благодаря какому-то там «праву», гарантированному юридически, а потому, что наши плоть и эмоции, живут и движутся в качестве функции любящих нас людей. И, в той мере, в какой мы способны и можем любить человеческий род, наши тела принадлежат ему.

Коммунистическая критика, одновременно с десакрализацией, должна также обличать капиталистическую утопию мира, в котором нельзя будет любить до смерти, где всё станет одинаково плоским, всё будет обладать одинаковой ценностью и подлежать одинаковому обмену. Все будут заниматься спортом, целоваться, работать, в одно и то же отмеренное время, порезанное как колбаса, в индустриальное время. Там будут сексологи, чтобы лечить любые отклонения в либидо, психотерапевты, чтобы избежать психических страданий и полиция, которая при поддержке химии

будет предотвращать любой выход за пределы нормы; в таком мире не будет больше сферы человеческой деятельности, которая могла бы стать объектом игры, в которой на кон ставится вся жизнь и придать времени другой ритм. Внеисторическая иллюзия, лежащая в основе мистической практики, опасна. Фактически, для нас важна только та её часть, которая, по определению, не является истинной частью данной практики: то, что можно передать другому. Из истории не уходят, но история, является ли она личной историей или историей вида, больше не является прямолинейным продвижением, которое капитализм стремится производить и заставить верить в его производство. История несёт в себе апогей, выходящий за рамки и вне настоящего, оргазмы, теряющиеся друг в друге, в социальности и в виде.

«Христианство придало вещественность священному, но природа священного (...) возможно является самой ненасытной у людей, священное является лишь привилегированным моментом коммунального единства, конвульсивным общением, которое мы обычно подавляем в себе».
—Ж.Батай, Священное

Этот момент «коммунального единства» сегодня обретается на концерте, в за-
владающей толпой панике, а в самых деградированных формах, в великих патриотических спазмах и других вспышках священного единства: манипуляции ими позволяют вершить всяческие тёмные делишки. Можно подумать, что в современной войне, в отличие от отсталых капиталистических стран вроде Ирана, участвовать будет лишь меньшинство, остальные будут созерцать. Но ни в чём нельзя быть уверенными: манипуляции священным возможно ждут ещё хорошие деньки, поскольку священное до сих пор было единственным переживанием, в котором проявлялось неугасимое желание человека: быть вместе с кем-то. Подготавливая более или менее воображаемую нишу вне классовой борьбы, мистическая практика вполне может послужить для цементирования восстаний, как это демонстрирует, например, роль даосского транса в сопротивлении центральной власти в древнем Китае, или вуду в восстаниях рабов, или еретических проповедников. Если современный мистический поиск и играет контрреволюционную роль, будучи лишь формой ухода буржуазной личности в себя, нельзя отрицать того, что меркантильное опошление всех аспектов жизни в тенденции лишает существование всего его страстного содержания. Мир, в котором мы живём предлагает нам любить только набор индивидуальных недостатков. В сравнении с традиционными обществами, этот мир утратил одно существенное измерение человеческой жизни: мощные моменты слияния человека с природой. Мы обречены созерцать языческие празднества по телевизору.

Но мы не хотим смехотворного возврата к прошлому, возврата к радостям, носящим повторяющийся, иллюзорный и близорукий характер, как это показывает история. Когда капитал стремится установить своё единоличное господство, поиск вне революции «коммунального единства» и «конвульсивного общения» становится чисто реакционным. Опошление капитализмом всей жизни даёт нам возможность освободиться от этой специализированной сферы, от сексуальности. Мы хотим мира, в котором выход за пределы своей личности существует в качестве возможности во всех видах человеческой деятельности — мира, который предлагает нам любить

весь наш вид и таких людей, чьи личные недостатки будут недостатками вида, а не недостатками этого мира. Сегодня ставкой игры, заслуживающей смертельного риска, способной придать времени другой ритм является содержание жизни в её всецелости.

Преступление

«Отсутствие смысла в истории — вот, что нас радует. Будем ли мы мучиться ради счастливого разрешения, ради заключительного празднества, платой за которое станут наш пот и наши фиаско? Ради будущих идиотов, что будут прыгать на нашем прахе? Видение достижения рая опережает, по своей абсурдности, худшие измышления надежды. Всё, что может послужить оправданием для времени, это отдельные моменты, которые мы находим более благотворными, чем иные, случайности без последствий в одной непереносимой монотонности проблем».

—Э.М.Чоран, Трактат о разложении основ

Коммунизм — это не достижение рая.

Для начала, отождествление коммунизма с раем позволяет принимать всё в его ожидании. В случае социальной революции, общепризнано, что общество не изменится сверху вниз: общество без государства и тюрем, согласны, чуть позже... когда люди станут совершенными. До тех пор всё оправдано: рабочее государство, народные тюрьмы, и т.д., поскольку коммунизм годится лишь для человечества богов.

Затем, существует успокаивающее видение желанного общества, отвращающее от его желанности. Все общины, независимо от их размера, заставляют своих участников отказываться от какой-то части самих себя и, если считать за позитивные те желания, что при их реализации не подвергают опасности свободу других людей, все общины обрекают каждого из своих участников на определённую неудовлетворённость своих позитивных желаний. Всё по той простой и хорошей причине, что эти желания не обязательно разделяются другим или другими участниками. Такая ситуация становится терпимой только благодаря уверенности в том, что если кто-то посчитает эти ограничения угрозой для цельности своей собственной личности, у него ещё будет возможность уйти, причём для кого-то этот уход окажется болезненным. Но разве риск страдания и смерти не является незаменимым для полноты жизни?

Что человечество, играя с законами материи, рискует погибнуть, вместе со всем живым на планете, нас не волнует. Непереносимо то, что оно это делает в абсолютной бессознательности, или, можно также сказать, вопреки ей, потому что оно создало капитал, навязывающий ему свои бесчеловечные законы. Тем не менее, верно то, что человек начал изменять свою окружающую среду, и он делает это, рискуя уничтожить её и себя вместе с ней, и этот риск несомненно сохранится, вне зависимости от форм социальной организации. Можно даже представить себе, что человечество, которое после первоначальной борьбы со вселенной овладеет ей и полюбит её,

реши́т исчезнуть, интегрироваться в природу в форме пыли. Во всех случаях, нет человечества без риска, потому что нет человечества без других. Это подтверждается также в игре страстей.

Если и не трудно представить себе, что менее жёсткое общество подарило бы женщинам и мужчинам (мужчинам, приговорённым буржуазной революцией носить лишь рабочую одежду!) возможность стать красивее, практиковать отношения соблазна заодно более простые и более утончённые, то в то же время, нельзя не зевать при мысли о мире, в котором весь мир будет приятен всему миру, где поцелуй будет всё равно что пожатие руки, без вступления в любовные отношения (именно такой мир нам обещает либерализация нравов). Карл тогда будет продолжать, если представить себе это правдоподобно, нравиться Дженни больше, чем Фридрих. Но нужно верить в чудеса, чтобы представлять, что никогда не произойдёт так, что Фридрих будет желать Дженни, которая его не желает. Коммунизм ни в коем случае не гарантирует согласия всех чувств. И реальная трагедия неразделённого желания кажется непреодолимой ценой, которую мы платим, чтобы игра соблазна сохраняла в себе страсть. Не из-за древнего принципа старомодных зануд «то, что приобретаешь безвозмездно, не обладает ценностью», но потому что желание включает в себя другого, а следовательно его возможное отрицание. Нет ни одной социальной и человеческой игры без ставок и без риска! Вот единственная норма, представляющаяся непреодолимой. Если только наше обезьянье воображение будет продолжать платить дань старому миру, оно не позволит нам постичь человека.

Что делает Фурье менее скучным, чем большинство других утопистов это то, что помимо слишком поэтичных и слишком пространных разработок возможностей, его система включает в себя необходимость конфликтов. Мы знаем, что почти все инциденты, которые старый мир считает преступлениями или правонарушениями являются лишь резкой сменой собственника (кража), инцидентами конкуренции (убийство кассира в банке), или продуктом нищеты нравов. Но, в мире без государства, не так уж невообразимо, что обострение страстей может привести человека к причинению страданий или убийству другого человека. В таком мире единственная гарантия того, что один человек не будет мучить другого будет в том, что он не будет испытывать в этом потребности. Но что если он почувствует такую потребность? Что если ему нравится пытать? Если избавиться от таких старых представлений, как «око за око, зуб за зуб», «цена крови» и т.п., женщина, чьего возлюбленного убивают, мужчина, чью возлюбленную мучают, несмотря на своё горе, посчитали бы абсолютно глупым убивать кого-то, или смотреть на него за решёткой, чтобы компенсировать в воображении понесённую утрату — возможно... Но что если у них есть чувство мести? Что если тот, другой, продолжает убивать?

В рабочем движении анархисты несомненно были среди немногих, кто конкретно поднял вопрос о социальной жизни без государства. Ответ Бакунина на самом деле не очень убедителен:

«Абсолютное упразднение всех унижительных и жестоких наказаний, экзекуций и смертной казни, установленных и исполняемых законом. Упразднение всех бессрочных или слишком долгих сроков, не оставляющих ни-

какой возможности для реабилитации: преступление следует считать заболеванием и т.п.».

Звучит как программа Социалистической партии в те времена, когда они ещё не захватили власть. Но дальше следует нечто поинтереснее:

«Любой, кто будет обвинён законом какого-либо общества, коммуны, провинции или нации, сохранит право не подчиняться наложенной на него каре, заявив, что не является больше членом этого общества. Но в этом случае, последнее в свою очередь сохранит право изгнать его и объявить его лишённым своих гарантий и защиты. Тогда он окажется наедине с природным законом «око за око, зуб за зуб», по крайней мере на территории занятой этим обществом, и у него можно будет отнимать, поступать с ним жестоко, даже убить без того, чтобы общество вмешивалось. Каждый волен будет обращаться с ним, как с опасным зверем, но никто не сможет поработить его и заставить его служить».

—Бакунин, *La Liberte*, Повер

Это решение напоминает отношение примитивных народов: человека, нарушившего табу больше никогда не воспримут всерьёз, каждый раз когда он открывает рот все смеются, или ему приходится уйти в джунгли, или он становится невидимым и т.д. В любом случае он изгнан из коммуны и обречён на раннюю смерть.

Если мы говорим о разрушении всех тюрем для того, чтобы построить новые, лучше проветриваемые и немного менее жёсткие, забудьте про нас. Мы всегда будем на стороне мятежника. Что это такое — «слишком долгий» тюремный срок? Не обязательно долго сидеть для того, чтобы знать, что время в тюрьме, по определению, всегда слишком долгое. Но если мы говорим о замене тюрьмы ещё более радикальным отчуждением, тем более забудьте о нас. Когда преступление считают заболеванием, это открывает двери для тоталитаризма нейролептики и психиатрического дискурса.

«Любопытно констатировать, что достаточно утратить серьёзность (в чём человек не слишком состарившийся преждевременно вполне может соперничать с самым ужасным ребёнком), чтобы найти самых низких преступников симпатичными. Социальный порядок удержится после взрыва смеха? (...) Жизнь это не взрыв смеха поучают, не без комичной важности, воспитатели и матери семей своих детей, которые этого не знают. (...) Я всё-таки представляю себе, как в злополучном мозге, замутнённом этим таинственным воспитанием, просыпается сияющий рай при ужасном грохоте разбитой вазы (...) необузданное развлечение располагает всеми продуктами мира, все отслужившие своё предметы должны разбиваться как игрушки».

—Жорж Батай, *Les Pieds Nickeles*

Что делать с теми, кто разбивает вазы? Сегодня невозможно ответить на этот вопрос и даже в обществе без государства вряд ли можно будет найти удовлетворительный ответ на этот вопрос. Человек, отказывающийся играть, разбивающий

вазы, готовый подвергнуться риску страдания, готовый погибнуть, ради простого удовольствия нарушить социальную связь, таков несомненно непреодолимый риск, которому подвергается общество, отказывающееся исключить из лона человечества такую асоциальную личность. Весь ущерб, который претерпит общество, будет всегда меньшим, чем тот, которому оно подвергается, превращая асоциальную личность в монстра. Ради спасения нескольких жизней, какими бы «невинными» они ни были, коммунизм не должен терять смысл своей жизни. На данный момент можно констатировать, что посредничество во избежание или для смягчения конфликтов и поддержания внутреннего порядка в обществе спровоцировало угнетение и человеческие жертвы бесконечно более великие, чем те, которые оно стремилось предотвратить или ограничить. При коммунизме ни замена государства, ни «безгосударственное общество» не станут государством.

«Подавление антисоциальных реакций настолько же химерично, насколько неприемлемо в принципе».

—«Письмо главврачам психбольниц», *La Revolution Surrealiste*, № 3, 15 апреля, 1925 г.

Эта проблема обладает значением не только для далёкого будущего. Она также актуальна в периоды социальных волнений. Вспомним грабителей и воров восстаний XIX века, моральный порядок, который производили в них эти восстания. Точно так же, в первые годы русской революции, во время громадного движения преобразования нравов, был составлен «Большевицкий брачный кодекс», в одном названии которого заключена вся программа. Во все более или менее революционные периоды будут возникать банды, несущие в себе заодно социальную подрывную деятельность и преступность, временное неравенство, мародёры, спекулянты, и поверх всего прочего, вся гамма колеблющегося поведения, которое трудно будет квалифицировать как «революционное», «ради выживания», «контрреволюционное» и т.п. Это будет разрешено прогрессирующей коммунизацией, но только после одного, двух, а может и более, поколений. От нынешнего момента до этого, нужно будет принимать меры, не в смысле «возврата к порядку», который станет одним из ключевых лозунгов антиреволюционеров, но в развитии того, что составляет оригинальность коммунистического движения: в своей сущности оно не подавляет, оно подрывает.

Это означает в первую очередь, что оно использует только такое количество насилия, какое строго необходимо для достижения его целей, не из-за морализма или не-насилия, но потому что поверхностное насилие всегда становится автономным и становится своей собственной целью. Это означает, что его собственным оружием с самого начала и в первую очередь является преобразование общественных отношений и производство условий существования. Спонтанный грабёж перестанет быть массивной сменой собственников, простым совмещением частной собственности, если при грабеже появляется общность между грабителями и производителями. Только при этом условии, грабёж может стать общественной экспроприацией богатств и их использованием в перспективе, превосходящей простое и чистое потребление. (которое не стоит порицать само по себе, когда социальная жизнь есть лишь производительная деятельность, она также является изготовлением и потреблением, что

с того, что бедняки сперва захотят изведать некоторых удовольствий, за которые лишь священники будут порицать их?) Что касается спекулянтов, то если иногда и нужны будут насильственные меры, то для восстановления, а не для наказания. Из всех способов, лишь распространение царства бесплатных товаров, отнимет у них все возможности вредить. Если деньги это лишь бумага, если нельзя продать накопленные товары, зачем тогда что-то копить?

Чем более радикальной становится революция, тем менее у неё остаётся потребности в репрессиях: мы утверждаем это с тем большим энтузиазмом, что для коммунизма, человеческая жизнь, в смысле биологического выживания не является высшей ценностью. Это капитализм навязывает нам свою чудовищную мошенническую сделку: гарантию максимального выживания в обмен на максимальное подчинение экономике. И всё же, не является ли мир, в котором приходится прятаться для того, чтобы выбрать час собственной смерти радикально обесцененным?

При коммунизме, отталкиваешься не от ценностей, которые тебе достаются, а от реальных отношений, которыми ты живёшь. Вся группа практикует, отвергает, принимает, устанавливает одни действия и не предпринимает других. Перед тем, как у нас появляются ценности и для того, чтобы иметь их, есть вещи, которые делаешь или не делаешь, принимаешь или запрещаешь.

В противоречивых, классовых обществах, запреты не подлежат обсуждению, и в то же время их постоянно обходят и нарушают. Запреты примитивных и, в определённой мере, традиционных обществ не устанавливают, собственно говоря, моральный порядок. Ценности и запреты воспроизводятся в каждый момент во всех актах общественной жизни. Поскольку работа всё более и более радикально противостоит частной жизни, постольку возникает вопрос нравов, который встал особенно остро в Европе XIX века с развитием опасных, по определению буржуазии, классов. Нужно считать рабочего свободным идти на работу (чтобы оправдать свободу капиталиста отказать ему в ней), в то время как мораль должна поддерживать его в хорошем состоянии, разъясняя ему, что пить нехорошо для его работы и собственного достоинства. Мораль существует только потому что есть нравы, что подразумевает сферу, которую общество в теории оставляет личности в собственное распоряжение, в то же время занимаясь тем, что узаконивает её извне.

Закон, религиозный, затем государственный, подразумевает насмешку над ним. Здесь лежит разница с коммунизмом, у которого нет потребности в непостижимом законе, который как это знают все, не будут уважать. Нет ничего абсолютного, если не может быть первичности вида — что не означает его выживания. Нет фальшиво универсальных правил. Вся мораль рационализирует а posteriori, как право и идеология. Она хочет быть вечным фундаментом общественной жизни и выдаёт себя за таковой, не имея при этом фундамента сама, основываясь на Боге, природе, логике, общественном благе, т.е. на несуществующем фундаменте, потому что его нельзя поставить под вопрос. Правила которые нам даст (способом, который мы не можем предвидеть) коммунизм будут проистекать из коммунистической социальности. Они не составят морали, потому что не будут претендовать на иллюзорную универсальность во времени и пространстве. В правила игры будет входить возможность играть с правилами.

«Бунт — это форма оптимизма, которая вряд ли менее отвратительна, чем обычный оптимизм. Бунт, чтобы иметь возможность состояться, предполагает, что есть возможность отреагировать, то есть существование лучшего порядка вещей, к которому следует стремиться. Бунт, рассматриваемый в качестве цели, сам по себе оптимистичен, он предполагает перемены, беспорядок, как нечто, приносящее удовлетворение. Я не могу верить в то, что нечто приносит удовлетворение.

(...)

Вопрос: ‘По вашему мнению, самоубийство это меньшее зло?’

‘Именно так, меньшее зло, вряд ли менее противное, чем труд или мораль’».

—Жак Риго, свидетельство по «Делу Барре» 1921 г.

Вся нигилистская литература развила точку зрения «бьющих вазы», противостояния всем социальным связям, и, как обязательное следствие, вкус к смерти. Но прекрасная музыка нигилистских мыслителей не предупредила их большую часть от затерянности в повседневной жизни вплоть до респектабельного возраста. Непоследовательность, подтверждающая, что чистый бунт является лишь литературным мифом. Что касается таких редких личностей, кто, как Риго выбрал меньшее зло самоубийства или как Жене испытал на себе истинную деградацию, они прожили этот миф, как страсть своей жизни. Но если нет никаких сомнений в том, что существовали искренние и бескомпромиссные мистики, это не доказывает существование бога. Эти «мятежники» подпитывают элитаризм, занимая ради игры фальшивую позицию. Хуже всего не то, что они верят в своё превосходство над другими, но то, что они думают, что отличаются от остального человечества. Они хотят быть созерцателями мира, от которого сами отделены, но ведь нельзя понять того, в чём не участвуешь. Будучи в стороне от всего, они верят, что обладают некой прозорливостью и попадают в худшую из ловушек, как говорит Батай:

«...я никогда не мог рассматривать существование с рассеянным презрением человека одиночки». (Œuvres, II, стр.274)

«Человеческая суэта, со всей вульгарностью своих малых и больших потребностей, со всем резким отвращением к полиции, преследующей её, именно эта суэта всех людей (кроме полиции и друзей этой полиции) единственная, формирует революционные ментальные формы в противовес буржуазным ментальным формам». (Œuvres, II, стр.108-109)

Миф о бунтаре иногда служит помехой революционной теории: достаточно вспомнить очарованность ситуационистов преступниками вообще и в частности Ласенером, очарованность, увенчанную отталкивающей атмосферой в последнем фильме Дебора. Но если этот миф должно критиковать, то также потому что он только и делает, что своим производством очаровательных монстров для классовых обществ создаёт их обратную сторону, тем самым увековечивая их.

В том океане зомби, в котором мы мокнем, иногда пробегает дрожь страсти, когда гражданам подаётся радикально чуждое существо, имеющее подобие человека, но чья реальная человечность абсолютно отрицается. Для нациста это был еврей, для антифашиста это был нацист. Для толп наших современников, это террористы, гангстеры, детоубийцы. Когда подходит время преследовать этих монстров, страсти наконец-то пробуждаются и воображение, казалось бы исчезнувшее, скачет галопом. Остаётся только сожалеть, что этот тип утончённого воображения является как раз тем, который приписывается гарантированно бесчеловечному монстру: нацистскому палачу.

Невозможно заставить весь мир уважать закон, противоречащий реальному функционированию общественных отношений. Невозможно предотвратить убийство, пока существуют причины для убийства. Невозможно предотвратить кражи, пока существует неравенство и коммерция основывается на краже. Так, из отдельного случая делается пример. Намного более того: мы очищаемся от той части самих себя, которая хотела бы быть палачом этих незащитных тел или убийцей-насилемником этих детей. Уже необязательно доказывать зависть в криках толпы, исполненных ненавистью. Это очевидно даже для близоруких глаз журналиста.

В противоположность этому, коммунизм есть общество без монстров. Без монстров потому что каждый в конце концов узнает в желаниях и действиях других возможные образы своих собственных желаний и своей человеческой сущности. «Истинное бытие человека — это бытие-вместе (Gemeinwesen) человека» (Маркс): слово «бытие-вместе» или коллективное бытие выражает наше движение даже лучше, чем слово «коммунизм», которое в первую очередь ассоциируется с обобществлением вещей. Фраза Маркса заслуживает детальной разработки и мы к ней ещё вернёмся. На данный момент ограничимся тем, что отметим в этой фразе критику буржуазного гуманизма. В то время как любой может быть честным человеком Монтеня благодаря посредничеству культуры, коммунистический человек знает из практики, что он не может быть тем, кем является если другие не будут теми, кто они есть.

Это ни в коем случае не означает, что ни одно желание не следует подавлять. Подавление и сублимация предотвратят нас от впадения в отрицание различий. Но коммунизм это общество без каких-либо гарантий помимо свободной игры страстей и потребностей, хотя капиталистическое общество и одержимо бредовым желанием гарантированности и хотело бы быть застрахованным от всех перипетий жизни, в том числе и от смерти. От любой возможной опасности или риска можно «застраховаться», кроме «форс-мажорных обстоятельств» — войны и революции — и ещё... Единственное событие, от которого капитализм не может застраховаться, это его собственное исчезновение.

Когда выступаешь с глобальной критикой мира, эта критика будет неприемлемой пока ограничивается чистой теорией. Есть периоды, когда подрывная деятельность почти полностью ограничивается редактированием текстов и обменом мнениями. В этом «почти» скрыт наш дискомфорт: для того, чтобы сохранить ясный взгляд на этот мир, нужно быть привычным к напряжению, которое нелегко сохранять, поскольку оно подразумевает отрицание, определённую маргинализацию, великое бесплодие. Это отрицание, эта маргинализация и это бесплодие совершают свой вклад в поддержание страсти, стремящейся затвердеть в горьком человеконена-

вистничестве или интеллектуальной мании. Тот, кто отрицает организацию мира капиталом не считает ни одно из действий, предпринятых в общественной жизни самостоятельным. Сами проявления биологической данности не могут избежать этой попытки! Ему кажется подозрительным принимать необходимость размножения — как можно хотеть производить на свет детей в этом мире, если не видно возможностей изменить его?

Тем не менее, вне каких-то простых принципов вроде отказа от участия в работе предприятия мистификации и подавления (ни звездой, ни ментом), отказа от карьеры, нельзя претендовать на установление форм отказа в чёткой и завершённой манере. Для радикальной критики нет добрых нравов, для неё нечто просто дурнее, чем другое и своим поведением она высмеивает теорию. Хотеть быть революционером в не-революционный период... Что обладает значением, так это скорее напряжённость состояния отказа, а не результаты этого противоречия, всегда фрагментированные и изувеченные.

Чего ради критиковать нищету нравов если она должна оставаться? В нашем образе жизни нет другого смысла кроме его отношения к коммунизму. В отношении цитаты Чорана, которой мы открыли данный раздел, мы должны ответить, что реально невыносимы не тот пот и не те фиаско, что являются частью нас самих, а те, что навязаны нам этим миром. Единственное оправдание, которое мы находим убивающему нас времени, это предложение истории взять за нас реванш. Смысл нашего образа жизни — в возможности, что общественные связи, и ни что иное, будут гарантировать сами себя и что это сработает!

Если общественный кризис ухудшится, будет оставаться всё меньше и меньше места для срединного выбора. Всё меньше и меньше станет возможно требовать «немного меньше полиции». Выбор будет между тем что существует и полным отсутствием полиции. Именно тогда человечество должно будет хорошо показать любит оно или нет свободу.

* * *

Любовь. Экстаз. Преступление. Три исторических продукта, которыми человечество жило и живёт в своих отношениях и эмоциональной практике. Любовь, вследствие равнодушия и общего эгоизма, находящих пристанище в нескольких существах, привилегированных благодаря игре случая и потребности. Это невозможная любовь к человечеству так или иначе реализованная в нескольких личностях. Экстаз, экскурсия из пошлости, банальности, в священное, побег заканчивающийся в сетях и тенетах религии. Преступление, единственный выход за пределы нормы, которую больше нельзя ни уважать, ни обходить. Любовь, священное и преступление — это пути бегства от настоящего и попытки придать ему смысл. В позитивном или негативном смысле: все три обладают притягательностью и отталкивающими чертами, привлекают и отвергают друг друга. Любовь восхваляют, но ей не доверяют. Священному в его сущности грозит опошление, его призывают, чтобы избавиться от него, в то же время укрепляя себя. Преступление наказуемо, но оно зачаровывает.

Три транспортных средства по ту сторону повседневности, которые коммунизм не будет обобщать, потому что он упразднит их. Любая жизнь (коллективная или

личная) имеет свои пределы. Но коммунизм будет аморальным в том смысле, что у него не будет потребности в установленных нормах, внешних по отношению к общественной жизни. Образы жизни и модели поведения будут распространяться, не без столкновений и насилия, передаваться, изменяться и производиться одновременно с общественными взаимоотношениями. Священное, как отделение внешнего от внутреннего постепенно исчезнет. Также исчезнет религиозное пространство: как старые религии, так и современные, в которых нет богов, лишь дьяволы, будут исключены из материи общества. Свобода человека, его способность модифицировать природу, обретаются вне его самого. До сих пор, мораль, любая мораль, тем коварнее, чем менее она предстаёт таковой, превращала всё потустороннее в губительные для человека существа. Коммунизм не сровняет «волшебную гору» с землёй, он сделает всё необходимое, чтобы освободиться от её господства. Он создаст и умножит дальние горизонты и наслаждение теряться в них, а также способность лелеять новые, подрывающие «естественную» зависимость от любого мирового порядка.

Библиотека Анархизма
Антикопирайт



Жиль Дове
За мир без морали
1983

Сохранено 2 октября 2011г. из revsoc.org
Перевод Э.Т.
опубликовано в журнале La Banquise #1

ru.theanarchistlibrary.org